

Детские годы

Автор:

Николай Лесков

Детские годы

Николай Семёнович Лесков

Николай Лесков

Детские годы

(Из воспоминаний Меркула Праотцева)

I

Я думаю, что я должен непременно написать свою повесть, или, лучше сказать, – свою исповедь. Мне это кажется вовсе не потому, чтобы я находил свою жизнь особенно интересною и назидательною. Совсем нет: истории, подобные моей, по частям встречаются во множестве современных романов – и я, может быть, в значении интереса новизны не расскажу ничего такого нового, чего бы не знал или даже не видал читатель, но я буду рассказывать все это не так, как рассказывается в романах, – и это, мне кажется, может составить некоторый интерес, и даже, пожалуй, новость, и даже назидание.

Я не стану усекать одних и раздувать значение других событий: меня к этому не вынуждает искусственная и неестественная форма романа, требующая закругления фабулы и сосредоточения всего около главного центра. В жизни так не бывает. Жизнь человека идет как развивающаяся со скалки хартия, и я ее так просто и буду развивать лентою в предлагаемых мною записках. Кроме того, здесь, может быть, представит некоторый интерес, что эти записки писаны

человеком, который не будет жить в то время, когда его записки могут быть доступны для чтения. Автор уже теперь стоит выше всех предрассудков или предвзятых задач всяких партий и направлений и ни с кем не хочет заигрывать; а это, надеюсь, встречается не часто. Я начну свою повесть с детства, с самых первых своих воспоминаний: иначе нельзя. Англичане это прекрасно поняли и давно для осязательного изображения характеров и духа человека начинают свои романы с детства героев и героинь. Ребенок есть тот же человек в миниатюре, которая все увеличивается.

«Дитя – это отец будущего человека», – говорят любящие эффект французы, а здравый смысл наших предков еще глубже и проще выразил это поговоркою: «каков в колыбельку, таков и в могилку».

Итак, прежде чем вы наступите на мою отшельническую могилу, не откажитесь подойти к моей детской колыбели, – иначе, я боюсь, вы, как и другие, будете недоумевать: зачем я очутился в монастырской ограде?

Поэт Бенедиктов, произведениями которого я вдохновлялся в дни моей юности (я был юн тогда, когда еще юноши любили поэзию), однажды напугал меня. Вычитав у него, что «счастье наше» не что иное, как «перл, опущенный на дно», и что «кто лениво влагу тянет и боится, что хмельна», то, «слабый смертный, не достанет он жемчужного зерна», я пленился другим образцом, образцом человека, который, «согрев в душе отвагу, вдруг из чаши дочиста гонит жизненную брагу в распаленные уста». Я с детства уже приспособлялся припасть – и без передышки, без удержу, выпить мою чашу, достать со дна ее заветный перл, и я ее выпил и – слышу над собою:

Вот счастливец! дотянулся;

Чашу разом о землю хлоп...

Браво, браво! оглянулся,

А за ним отверзтый гроб.

Да, это так: за мной отверзтый гроб – и в виду его я обращусь к моей колыбели и попробую расставить легкие вехи для обозначения моих скитальчеств между двумя крайними точками бытия.

Я был странный путник: бодрый, но неудержимо стремящийся вперед, я беспрестанно терял тропу, путался, и когда я хотел поправиться, то выходило, что я не знал, куда повернуть, и еще хуже запутывался. Единственный поворот, сделав который я немножко ориентировался, это – тропа в скит. Только усевшись здесь, в этой старой вышке, где догорает моя лампада, после дум во тьме одиноких ночей, я приучил себя глядеть на все мое прошлое как на те блудящие огоньки, мерцающие порою над кладбищем и болотом, которые видны из моей кельи. Поздно вижу я, что искал света и тепла там, где только был один заводящий в трясину блеск, и что вместо полной чаши, которую я хотел выпить, я «вкушая вкусил мало меду и се аз умираю».

Но начнем *ab ovo*, [1 - С начала (лат.)] если не с самой колыбели, то хоть с той поры, как я себя помню. Это тоже в своем роде момент довольно оригинальный и, вероятно, не совсем такой, какой сберегся у каждого для первого воспоминания.

Я в первый раз сознал свою индивидуальность с довольно возвышенной точки: я держался обеими руками за нижнюю планку рамы и висел над тротуаром за окном пятого этажа.

Случай этот был некогда предметом больших толков одного густонаселенного польского города, где тогда стоял кавалерийский полк, которым командовал мой отец; руки мои ослабели и готовы были выпустить раму, вдруг меня за них кто-то схватил и втянул в комнату.

Для моих родных и домашних навсегда осталось тайною: как я очутился за окном. Прислуга, смотрению которой я был поручен, уверяла, что меня сманул и вытянул за окно бес; отец мой уверял, что виною всему мое фантазерство и распушенность, за которые моя мать терпела вечные гонения; а мать... она ничего не говорила и только плакала надо мною и шептала:

– Что такое делается в твоём маленьком сердчишке и в твоей головенке?

Но все это уже было, разумеется, после, а я буду последователен в этом рассказе.

Я вылез за окно и повис на подоконнике, когда родителей моих не было дома, – и оттого доставленный мною им сюрприз имел сугубый эффект: возвращаясь

домой в открытой коляске, они при повороте в свою улицу увидели массу народа, с ужасом глядевшую на дом, в котором мы жили, – и, взглянув сами по направлению, куда смотрели другие, увидели меня висящего на высоте восьми сажен и готового ежеминутно оборваться и упасть на тротуарные плиты.

С матушкой сделался тяжкий и глубокий обморок, из которого ее едва могли вывести, меж тем как отец в это время успел взбежать наверх в свою квартиру и, схватив меня за руки, спасти от неминуемого, падения.

Я лучше и яснее всего в жизни помню вечер этого дня: я лежал в детской, в своей кроватке, задернутой голубым ситцевым пологом. После своих эквилибристических упражнений я уже соснул крепким сном – и, проснувшись, слышал, как в столовой, смежной с моею детскою комнатою, отец мой и несколько гостей вели касающуюся меня оживленную беседу, меж тем как сквозь ткань полога мне был виден силуэт матери, поникшей головой у моей кроватки.

– Этот мальчишка – какое-то замечательное явление в природе, – говорил мой отец и при том высказал опасение, что из меня со временем непременно выйдет какой-нибудь совершенно неспособный к жизни фантазер. – Всмотритесь вы в его глаза, – продолжал отец, – он все как будто что-то ловит взором и к чему-то стремится... И не забудьте, что этот взгляд у него таков с самой минуты его рождения. Я помню, когда меня привели к пеленальному столику, на котором его управляла бабка, – он не плакал, а превнимательно рассматривал ее лицо – и потом, переведя глаза еще выше, он начал еще внимательнее разглядывать пестрый трафарет комнатного карниза. Я тогда же сказал: «Э, да это, кажется, в свет пришел новый верхолет, которых и без него довольно».

– Однако вы могли в этом ошибиться, – отвечал ему один из гостей и друг нашего дома.

– Да, – отвечал отец, – но у меня верный глаз, и я не ошибся. Моя жена – даром, что она лютеранка, она верит в русского бога и привечает разных бродячих монахов и странников, которых я, между нами сказать, терпеть не могу; но представьте вы себе, что один из таких господ, какой-то Павлин, до сих пор иногда пишуший нам непостижимые письма, смысл которых становится ясен после какого-нибудь непредвиденного события, недели три тому назад прислал нам письмо, в котором между всяким вздором было сказано; «а плод, богу предназначенный он ангелом заповест сохранить во всех путях, и на руках его

возьмут, и не разбьется». Поверьте, я далек от суеверия и сам недавно проучил одного ксендза, который показывал фальшивое чудо, – но я уверен, что моему мальчишке, когда он остался один, здесь, в комнате, непременно что-нибудь померещилось – и он потянулся за этим видением и очутился за окном, где его могло сбересть только чудо.

Услышав этот разговор, я начал припоминать, как это было, – и действительно вспомнил, что передо мною несло что-то легкое, тонкое и прекрасное: оно тянуло меня за собою, или мне только казалось, что оно меня тянет, но я бросился к нему и... очутился в описанном положении, между небом и землею, откуда и начинался ряд моих воспоминаний.

II

Отцу, вероятно, очень не нравились и мой характер и моя наружность, по крайней мере я привык так умозаключать, судя по немногим моим столкновениям с виновником моего бытия. Если батюшке приходилось видеть меня, когда он был в духе, он обыкновенно брал меня за ухо и говорил:

– Учись, братец, всему полезному, а то, если будешь такой пустозвон, как отец, так я тебя в уланы отдам.

Я этого ужасно боялся и ревностно учился всему, чему меня учили.

Если батюшка был не в духе, – что с ним в последние годы его жизни случалось довольно часто, – то тогда он просто был страшен: он краснел в лице, метал ужасные взгляды, топтал ногами и рвал все, что ему попадалось под руку. Когда поднималась такая буря, все в доме проникались трепетом и старались, как птицы перед грозой, спрятаться куда попало, пока эта буря пронесется. С отцом на это время оставались только матушка да старый его денщик Окулов. Я не знаю, как они ладили с безмерною раздражительностью и вспыльчивостью моего отца, но помню, что при всей моей тогдашней младенческой малосмысленности я постигал их величие – и с благоговением смотрел в исполненные небесной кротости глаза моей прекрасной матери и в маленькое сморщенное лицо денщика, худенького солдата Окулова.

Я не знаю, как мать и Окулов управлялись со вспыльчивостью моего отца, но только он или повиновался и успокоивался.

Но, наконец, выдался случай, который и их влияние сделал бесполезным; это было таким образом: отец мой получил полк, в котором прежде служил и с которым был во множестве сражений. Полк этот тогда только что возвратился из похода и находился в сильном беспорядке: люди были дурно одеты, лошади искалечены; а между тем ему через месяц назначен был осмотр от высокого лица, от которого всецело зависела вся отцова карьера. Матушку это ужасно встревожило. По обычаю полковых дам тогдашнего времени, она достаточно понимала требования и условия военной службы и знала анекдотически вспыльчивый характер лица, которому отец мой должен был вывести на смотр свой расстроенный полк. Это был человек не злой и даже, пожалуй, по-своему добрый, но, к сожалению, чрезвычайно схожий по характеру с отцом моим: он был безумно горяч и в своем неистовстве весьма часто несправедлив. Матушка ждала больших неприятностей от встречи этих двух характеров в лице подчиненного и начальника. Плохой, богадельный вид полка должен был произвести самое дурное впечатление, а никаких надежд нельзя было возлагать на то, что осматривающее лицо войдет в разбор причин, поставивших полк в такое положение. Отцу оставалось: или отказаться от полка, или же обмундировать и ремонтировать его на свой счет. Считая первое знаком недостойной трусости, отец решился на второе; но это требовало больших денег, которых у моего отца не было и которых он ни у кого не мог занять в стране, где к нам относились враждебно. Тогда мать, всегда бывшая утешителем ангелом всех скорбящих и сетующих, поехала со мною и с Окуловым в Лифляндию к бабушке, вдове барона, некогда служившего в русской службе. Об этой поездке и о самой Лифляндии я не сохранил много воспоминаний: помню только одно, что бабушка моя, баронесса, была чрезвычайно большая, полная женщина и что она очень любила всех мыть. У них была баня, в которой бабушка проводила целый субботний вечер: здесь она мыла головы не только двум своим незамужним дочерям, а моим теткам, но и самому барону – своему мужу, а моему деду, которого я по этому случаю считал большим бесстыдником. После я, однако, узнал, что дед совсем не по своей охоте ходил в баню, где его бабушка мыла, а делал это, только уступая настоятельным требованиям баронессы, «для сохранения домашнего спокойствия».

Впрочем, я и сам тоже был в мытье у бабушки, разумеется совершенно против моей воли: помню, что мне это стоило много горячих слез, потому что я был от природы чрезвычайно стыдлив, и как меня ни уговаривали и ни упрашивали «утешить gros muterхен»,^[2 - Бабушку (нем.)] – я не мог раздеться при

женщинах. Возмутительная операция эта была совершена надо мною с самым грубым насилием и при таком численном превосходстве со стороны моих врагов, что я никак не мог не сдаться, хотя и бился до потери сознания. Бабушка и сама была еще необыкновенно сильна, но, не надеясь на себя, она призвала к себе на помощь троих здоровых белобрысых латышских девок, с длинными плоскими торсами на коротеньких ногах. Увидав этих моих мучительниц, я застонал и, зажмурив глаза, начал их брыкать ногами и плевать, но их это нимало не испугало, и я был раздет ими донага, причем заявлял мой протест только плачем и стенаниями, на которые эти бесчувственные грации с рубенсовским колоритом тела не обращали никакого внимания и повлекли меня в баню, где меня ожидали сугубые муки. Обставленная тазами и лоханками, бабушка сидела на широкой скамье на самой середине бани, а по сторонам ее стояли еще две латышки с такими же, как первые, плоскими торсами и короткими ногами. Меня вели за обе руки и подпихивали сзади, так что я решительно ничем не мог защитить свою скромность и притом скоро перестал о ней заботиться, потому что подвергся мукам иного свойства. Теперь я страдал уже от того, что бабушка, принимаясь за мытье, действовала руками с каким-то невообразимым ожесточением, а в то же самое время, чтобы я не шевелился, она зажимала меня, как в тиски, между своими крепкими коленями, покрытыми на сей случай только одним мокрым холщовым фартуком. Этот мыльный фартук своим прикосновением производил на меня такое отвратительное впечатление, что я бился и визжал как сумасшедший и, наконец, однажды ущипнул бабушку так больно, что она, выхватив меня из своих колен, зажала в них снова по другому образцу и отхлопала ладонью так больно, что я помню это о сю пору почти так же живо, как сочный, рубенсовский колорит латышских дев, на которых я нехотя смотрел, удивляясь занимательности некоторых их форм. Однако, хотя я тут я пострадал, но в общем ходе дел поездка в Лифляндию была удачна: бабушка была очень добра и ко мне, и к татам, и даже к отцову денщику Окулову, который пленил ее своею способностью к мытью и глаженью. Бабушка его за это так полюбила, что однажды велела ему прийти в кухню и там собственноручно вымыла ему голову, а на дорогу подарила фунт мыла. Но что всего важнее, это то, что отсюда мы возвратились к отцу с значительною суммою, которой было достаточно на то, чтобы привести наш полк в сколько-нибудь приличный вид. Деньги эти были выручены залогом довольно богатого имения, составлявшего собственность моей бабушки. Спешный залог был сделан на самых невыгодных и тяжелых условиях, но тягость эта значительно уменьшилась несомненною надеждою скорой и легкой расплаты. Полк тогда давал командиру хорошие средства, которыми гнушаться было не в духе времени, а к тому же вскоре после смотра предстояло получение ремонтных денег, которые могли с излишком погасить всю сумму займа. Одним словом, во всем этом не предвиделось ни

малейшего затруднения – и отец мой принялся за дело с свойственной ему неутомимой энергией. В полковых швальнях и мастерских кипела горячая и безустанная работа, в которой, кроме своих людей, участвовали наемные мастера, каких только где-нибудь могли отыскать в окружной черте. Подручные люди отца оказывали ему самую ревностную помощь: одни закупали коней, другие занимались их выездкой и обучением, третьи – пригонкою вещей и амуниции и т. п. Времени до смотра оставалось очень немного, и потому многое делалось наспех, неаккуратно; на одно затрачивалось более, чем следовало, другое делалось кое-как. Будучи сам человеком очень честным, отец мой страдал излишнею доверчивостью и терпеть не мог никакой подозрительности; это благородное свойство его души послужило ему немножко во вред: занятых сумм не достало, и матушка нашлась вынужденною взять еще несколько тысяч под вексель на покупку инструментов для полковой музыки. Но зато теперь уже все было произведено на славу и притом поспело в срок к своему времени. Я помню, как, перед самым смотровым днем, музыканты принесли к нам на двор старые, измятые и изломанные инструменты и вместо них взяли из высокой каменной кладовой блестящие новые трубы, на которых тут же и сыграли перед окнами матери «Коль славен наш господь в Сионе».

В прелестных глазах матери сияла беспредельная радость и благодарность небу, которое помогло ей все это устроить для спокойствия мужа. Она заплакала – и, выслав музыкантам вина и ассигнацию, бросилась на колени и, прижав меня к своей груди, стала молиться...

В эту минуту в ее комнату вошел отец: он был, по-видимому, чем-то очень озабочен и хотел было тотчас же выйти назад, – но, увидав молящуюся мать, сам стал возле нее на колени, положил молча земной поклон и, восклонясь, обнял матушку и меня и, поцеловав нас обоих, сказал:

– Каролина! это не может быть, чтобы ты была обыкновенная женщина.

– Кто же я? – спросила матан.

– Ты ангел, и даже, мне кажется, самый добрый ангел во всей вселенной. О, зачем на земле не все женщины подобны тебе, чтобы сделать землю раем для человека.

– Не говори этого, Павел, – отвечала матушка, – это лесть или заблуждение, но... – добавила она с такими особенными слезами, каких я никогда прежде не видывал, – но об одном тебя прошу: как бы ты ни увлекался всем тем, что тебе покажется прекрасным, не отнимай ни одной капли твоей любви от сына.

С этим матушка пододвинула меня рукою к отцу, а сама села в кресла и закрыла глаза своими нежными белыми руками.

Отец мой показался мне очень смущенным: он как будто застыдился чего-то по поводу приведенных мною кратких слов матери – и, небрежно обняв меня, поцеловал в голову и проговорил:

– Да, да; что же ты... я ведь его люблю... право, люблю! я, брат Меркул, тебя очень люблю, но только ты, пожалуйста, смотри не будь фантазер и учись всему полезному, а то я тебя в гусары отдам.

Эта небольшая семейная сцена имела важное влияние в моем развитии, как потому, что я из нее смутно уразумел тщательно скрываемую от меня драму моих родителей, так и потому, что это единственная и последняя сцена, в которой я видел моих родителей в таких задушевных отношениях.

Я во всю жизнь мою не переставал грустить о том, что детство мое не было обставлено иначе, – и думаю, что безудержная погоня за семейным счастьем, которой я впоследствии часто предавался с таким безрассудным азартом, имела первую своею причиною сожаление о том, что мать моя не была счастливее, – что в семье моей не было того, что зовут «совет и любовь». Я не знал, что слово «увлечение» есть имя какого-то нашего врага.

Увлечения! Боже мой, как печальны ваши следствия и как поздно человек начинает понимать, что, поддаваясь вам без удержу, он оскорбляет не ту узкую мораль, которая в разные времена послушна разным велениям, а рушит вековечный завет, в разладе с которым нет места для счастья! Но об этом речь впереди; я могу себя утешить, что, занимаясь историей моей жизни, я еще не раз встречу удобный случай обратиться к этим мыслям, – а теперь буду непрерывно продолжать мое повествование, дошедшее до события, которое я должен назвать первую мою катастрофою.

Я не имел более ни времени, ни случая наблюдать отношения моих родителей, потому что отец мой скоропостижно умер на другой день после описанной мною сцены. С этого и началась та катастрофа, о которой я сказал в конце предыдущей главы.

На первый раз самое ужаснее в этом несчастье была его неожиданность. Люди, которые всякий случай находят безразлично удобным для острот и насмешек, говорили, что «полковник Праотцев зарезан на славу живой ниткой», но этот скверный каламбур имеет очень точный смысл.

Дело было так: полк отца вышел к смотру в таком блестящем состоянии, что осматривающему его лицу не оставалось ничего, кроме как хвалить и благодарить. Все шло как нельзя лучше, но вдруг... О ужас! вдруг высокая особа заметила, что на мундире одного из солдат ослабела пуговица. Были ли тому виною поспешность работы или прелая нитка, но только когда особа с безмерною радостью сделанного открытия дернула эту пуговицу, то злополучная оловяшка сию же минуту отвалилась. Особа вскипела и пошла дергать все ниже и ниже, шибче и шибче... За одну пуговицею последовала другая, третья: особа их рвала, рвала с солдат и, наконец, в неистовейшем бешенстве бросилась на самого моего отца с криком:

– Может быть, у вас и у самих все на живую нитку? – причем особа схватила отца за пуговицу; но отец быстро дал шпоры коню – и, отскочив в сторону, весь побагровел и ответил:

– Не троньте меня, ваше-ство: я щекотлив.

Особа повернула лошадь назад и понеслась, крича, по рядам:

– Скверно, мерзко: в сапожники вас; в сапожники!

Мать все это видела и слышала, стоя у открытого окна в зале, где был приготовлен обеденный стол для офицеров полка и для самой особы. Теперь этот стол был как насмешка над нашей семейной бедой. Но это еще было полгоря в сравнении с тем, что ждало нас впереди. Беды ревнивы и дружны – и

не идут в одиночку, а бродят толпами. Прежде чем матушка могла сообразить и обдумать, как встретить отца, который должен был возвратиться в гневе, – двери залы растворились, и в них появился мой отец, поддерживаемый двумя денщиками. Он молча указал глазами на кресло – и, когда его посадили, сорвал с себя галстук и прохрипел:

– Попа!

Матушка кинулась к нему, а он схватил ее руку, прижал ее к лицу – и тотчас же умер под шепот отходной, которую начал читать над ним прибежавший полковой священник.

Так погиб от прелой нитки мой храбрый и честный, изрубленный в боях отец, которого я мало знал и черты которого в настоящее время едва могу воскресить в моей памяти. Едва помню его бравую военную фигуру, коротко остриженную голову, усы и бакенбарды с седыми концами, горячий цвет лица и синие глаза: вот и все.

Совсем не то с лицом матери. Мне даже становится совестно, что я не умел поровну разделить моих привязанностей между моими родителями, – но это уже так сложилось. Я беззаветно предал всю мою душу моей матери, небесный образ которой безвыходно живет в моей душе. Два раза в жизни, когда я терял его, я был на краю пропасти, и... тут снова являлся мне он, этот священный лик с светлыми кудрями Скиавонэ и с глубокими очами познавшего свет провидца. Отец мой был прав: матушка была бы красавица, если бы она не была ангелом. Впоследствии, встретив у Оригена предположения, что ангелы могут жить и в нашем обыкновенном человеческом теле, я всегда чувствовал, что я одного такого видел и еще его увижу: он меня не позабудет; он меня встретит, потому что... он моя мать!

Приводя себе на память впечатление, какое производила моя мать на людей, которые ее видели в первый раз, я всегда припоминаю мнение Сократа, что «познание есть только воспоминание того, что мы некогда знали». Впервые встречая мою мать, всякий чувствовал, что он ее будто когда-то уже встречал, и притом встречал в необыкновенную для себя минуту; каждому мнилось, что она ему или уже когда-то сделала, или еще сделает что-то доброе и хорошее. Одним словом, это было доброе, чудное лицо, о котором я не буду говорить более – как потому, что рискую никогда не кончить с этим описанием, так и потому, что вижу теперь перед собою этот священный для меня лик, с застенчивой

скромностью запрещающий мне слагать ему мои ничтожные хвалы.

После смерти отца мы с матушкой остались не только нищими, но на нас лежала вина разорения моей престарелой бабки и теток, имение которых, заложенное для моего отца, было продано с молотка вместе с тою банею, где я так мученически страдал от бабушки и ее здоровых латышек, голые тела которых так жестоко смущали мою скромность. Беды повисли над нами тучей: энергическая старуха бабка не вынесла своего горя – и когда ее стали выводить из ее родового баронского дома, она умерла на пороге. Мы этого не видали: мы с матерью тогда еще оставались в том самом городке, где скончался мой отец и откуда мою мать теперь не выпускали за ее долг по векселю, за деньги, взятые ею на покупку новых инструментов для полкового оркестра. Платить нам было не из чего, так как все наше имущество заключалось в небольших пожитках да тех старых трубах, которые были свалены в амбаре взамен взятых на место их новых. Кредиторы должны были убедиться в несостоятельности матушки и рассрочить ей долг на мелкие платежи, какие она надеялась производить из имевшегося в виду пенсионера за отцову службу.

Я, впрочем, не помню, как шли все эти переговоры и сделки, потому что едва ли не первым делом моей матери после того, как она овдовела, было отвезти меня в Петербург, где, при содействии некоторых доброжелателей, ей удалось приютить меня в существовавшее тогда отделение малолетних, откуда детей по достижении ими известного возраста переводили в кадетские корпуса. Зачисление в кадеты в те времена считалось вожделеннейшим устройством судьбы мальчика – и матушка, стало быть, могла за меня не беспокоиться: я непременно должен был выйти в офицеры, а это тогда было почти то же самое, что выйти в люди. По крайней мере это так принимали в тогдашней замундированной России. Пребывание мое в отделении малолетних и потом в одном из столичных кадетских корпусов преисполнено для меня самых разнообразных воспоминаний, между которыми грустных, конечно, гораздо более, чем веселых, но я не стану заносить их в свои записки. Мне противно положить своею рукою лишний камень в прибавку ко всей тягости, в таком изобилии набросанной на эти школы. Да к чему бы это послужило? Масса описаний темных сторон нашей школьной жизни так велика, что я не вижу нужды увеличивать ее своими рассказами, тем более что я не могу сказать ничего нового и... должен сознаться, что я все-таки чувствую благодарность к этому заведению, которое призрело и воспитало меня так, как оно могло и как умело. Оставленный самому себе, на руки беспомощной матери моей, я бы, конечно, был еще несчастливее – и потому мир тебе, мой детский приют, так часто видевший мои детские слезы!

Из всей школьной жизни упомяну только об одном событии, вследствие которого я неожиданно расстался с стенами заведения и вылетел в жизнь ранее положенного срока, да притом совсем и не в том направлении, к которому специально готовился.

IV

Не знаю, как бы надлежало правильнее назвать происшествие, которое около двадцати пяти лет тому назад случилось в одном из петербургских корпусов, именно в том, где я воспитывался, но тогда это происшествие все, не обинуясь, называли «кадетским бунтом». Как могли бунтовать безоружные дети, это довольно интересно, и я очень удивляюсь, что в нынешних журналах, специально занятых оглашением нашей недалекой старины, до сих пор не встречается ни одного сказания об этом «кадетском бунте». Дело началось с того, что, попавшись в руки одному начальнику, чрезвычайному охотнику употреблять розги, мы вышли из терпения, и когда одного из наших товарищей секли перед фронтом, мы долго просили о пощаде ему, и когда в ответ на эту просьбу последовала угроза «всех перепороть», кто-то вдруг бросил в экзекуторов камень. За одним камнем, как водится, полетели другие, и так дружно, что некоторые начальствующие лица обратились в бегство, и экзекуция была временно приостановлена.

Началось следствие: приехало разное высокое начальство и допрашивало нас и в массе и поодиночке, но мы и не винулись сами и не выдавали виновных.

При необыкновенно развитом тогда товариществе между кадетами дети давали собою образцы геройства для взрослых, и вот в награду за эту неустрашимость и благородство наше последовало распоряжение, во исполнение которого «все особенно упорные», в пример прочим, жестоко пострадали, то есть они были немилосердно перепороты, а потом исключены из корпуса и выпущены «для определения к статским делам».

В числе подвергшихся всем этим карам очутился и я.

Я должен сказать, что все мы встретили эту немилость не только бодро, но даже обрадовались ей.

Блаженный возраст, в котором мы находились, душевная чистота и беззаботная, светлая вера в грядущее делали нам легким наш героизм, да притом же мы и не ясно понимали, что с нами делают. Нам необыкновенно отрадно было чувствовать себя «пострадавшими за благородное товарищеское дело», а к тому же и в положении, в которое мы попали, было столько разнообразия! Сначала нас, «как заразу», долго держали в карцере, где нам было превесело и куда к нам являлось разное самое высокое начальство и внушало нам необъятность наших вин и бездну, в которую мы низвергаем себя своею нераскаянностью. Все эти внушения нам казались смешными, и мы по выходе начальства осмеивали его речи в стихах, упражняясь в которых от безделья достигли в этом значительной ловкости. Потом, убедясь в нашей неискоренимости, начальство призвало нас в залу и в сборе всех наших товарищей прочло нам приговор, которым мы исключались из заведения и выпускались с правом поступить на гражданскую службу, с весьма удлинённым сроком на получение первого классного чина.

Взрослым людям трудно себе представить то восторженное настроение, которое последовало за этой минутой.

– Теперь весь корпус смотрит на вас как на недостойных своих товарищей, – объявил нам директор, окончив чтение приговора.

Последнее слово нас было на минуту смутило, но, взглянув в глаза стоявших против нас развернутым фронтом кадет, мы увидели, что слова эти несправедливы, что «весь корпус» на нас действительно «смотрит», но смотрит совсем не как на недостойных товарищей, а, напротив, «как на героев», и когда нам дозволено было проститься с остающимися камадами, то мы с таким жаром бросились в объятия друг другу, что нас нелегко было разнять.

– Вы герои! вы наши благородные рыцари! – кричали нам, осужденным, помилованным, между которыми большинство состояло из детей младшего возраста.

Их волею-неволею должны были простить, потому что между ними много было бесприютных сирот, находившихся в таких летах, когда «определение к

статским делам» еще невозможно. Поэтому их считали «повинившимися», несмотря на то, что они тоже, как и мы, не приносили повинной.

Но как бы там ни было, плотное слитие обеих сторон в объятиях, поцелуях, слезах показали начальству, что «оправданные» не презирали осужденных, и... начальство этим, кажется, было тронут. Нам довольно долго не мешали изливать на прощании свои чувства, и когда, наконец, настало время это прекратить, «оправданным» опять скомандовали выстроиться во фронт, а нас, осужденных, построили колонною и скомандовали нам марш за двери.

Это было последнее командное слово, которое я слышал в воинском звании, но и оно было заглушено для всех нас массою детских голосов. Стоявшие в строю кадеты не удержались и дружным хором крикнули нам вслед:

- Прощайте, честные герои!

О, какая это была прекрасная минута! Мое сердце и теперь усиленно бьется и трепещет при воспоминании о ней; но что мы чувствовали тогда, когда перед нами распахнулись двери, выпускавшие нас в бесприютность? Я отказываюсь передать это...

Само начальство было, кажется, тронут воодушевлявшим нас духом и, в ознаменование своего к нам благоволения, не вменило в вину нашим товарищам нарушения субординации, выразившееся их прощальным криком из строя.

Впрочем, может быть, начальство не хотело этого замечать и потому, что ему уже надоело возиться с нашими «бунтами», да и не в этом дело. Мир и покой всем им, устроившим такую нашу карьеру, а ты иди вперед, моя история.

Замыкая этим период моей жизни, протекший под попечительной опекой, перехожу к началу моего житья на воле, которою я умел пользоваться не благоразумнее, как та птичка, которую выпустил из клетки ребенок и которая на первой же кровле попала в лапы хищной кошки.

Впрочем, изгнав нас из залы, где мы были лишены кадетского звания, начальство еще не сразу покинуло нас на произвол судьбы. До этого еще должен был пройти один небольшой интервальный акт, в продолжение которого мы чувствовали над собою руку пекшегося о нас правительства.

Нас не прогнали из корпусного здания, вероятно приняв во внимание, что нам решительно некуда было бы деться и все мы в первую же ночь непременно попали бы под опеку ночного полицейского дозора. Но как мы уже были не кадеты, то корпус находил невозможным предоставить в наше пользование ни одного из помещений, отведенных кадетам. Самое оставление нас в карцере было признано неудобным – и нас отвели в один из дальних корпусных, флигелей, где в наше временное пользование были представлены три большие комнаты нижнего этажа.

Мебели здесь решительно никакой не было, но к ночи солдаты притащили сюда несколько старых, отслуживших срок матрасов и старый же, черный, изрезанный ножичками, небольшой стол.

Оглядевшись в своем новом жилье, мы тотчас же сделали дальнейшую рекогносцировку и открыли, что находимся в помещении совершенно изолированном, и притом без всякого контроля.

Это открытие необыкновенно нас обрадовало. Мы почувствовали себя на свободе и запели: «Цыгане вольною толпой по Бессарабии кочуют», потом собственными руками разложили матрасы рядом по полу и, улегшись на них впокатку, как попало, уснули крепким, сладчайшим и безмятежнейшим сном. Утром, когда мы еще спали, пришел к нам офицер с известием, что мы будем пользоваться здешним приютом до тех пор, пока начальство справит нам штатское платье и устроит нашу рассылку к родителям. Для последнего распоряжения от нас были потребованы сведения о том, куда кто может ехать, – и мы были расписаны группами по трактам.

Тут я впервые задумался над тем: куда я приеду? Матушка, которой я очень давно не видал, жила в Лифляндии на маленькой мызе, оставшейся ей и теткам после продажи их имения за отцов долг. Я начал размышлять: какова может быть жизнь моей матери в этом положении и как ее должно поразить мое появление? Рассуждая обо всем этом, я тихонько сплакнул и написал матушке всю горькую правду о постигшей меня участи. Я утешал ее, что стану для нее жить и без усталости работать, но овладевавшее мною при этом смущение еще более усиливалось; я вспомнил, что я ровно ничего не умею делать и в шестнадцать лет еду к матери не для облегчения ее участи, а скорее для усиления ее забот.

«Я ничему полезному не выучился – и даже в гусары не гожусь», – размышлял я, с ужасом припоминая себе отцовы слова. Я видел, что роковое предчувствие его надо мною уже начинает сбываться, что я действительно того и гляди буду фантазером и ничего путного в моей жизни не сделаю.

Но, к значительному облегчению или по крайней мере к отсрочке моих скорбен, я не мог долго держать нити моих печальных размышлений: жизнь, которую вели мы в нашем карантине, тому не благоприятствовала.

Нас, изгнанников, было около сорока человек, из которых кое у кого нашлись маленькие деньжонки, маленькие, разумеется, по теперешним нашим понятиям, но по-тогдашнему весьма достаточные для того, чтобы ходить в верхние места театров и покупать сообща другие недорогие удовольствия. В числе последних было вино, которое солдаты беспрепятственно приносили нам в нашу казарму. Многим вино было еще не по вкусу, и нашлось между нами немало таких, которые и вовсе не могли его пить, но положение дел было таково, что стало нужно приучаться. Непитущих, в числе которых был и я, прозвали «девчонками», – и зато те, которые не хотели быть девчонками, отличались, напиваясь до того, что мы нередко должны были отливать их водою.

Меж тем штатское обмундированье для нас было готово, и на завтра был назначен разъезд буйной компании (она стала теперь достойна этого названия). Интересуясь способом нашей рассылки, мы узнали, что начальство подрядило несколько «протяжных троечников», распределив их по трактам на большие города, куда лежал путь рассортированным на трактовые пункты пассажирам. Пользуясь полною свободою ходить куда хотим, мы, разумеется, сейчас же отправились на указанный нам постоянный двор, который был где-то в Гончарной улице, – и там, под темными навесами сараев этого двора, мы дружески познакомились с извозчиками, с которыми должны были ехать.

Тут я должен сказать, что я, к величайшему моему удовольствию, освободился от лифляндской группы, в которую был сначала записан, – и переписался в группу киевскую, потому что матушка, в ответ на мое письмо об исключении меня из корпуса, уведомила меня, что мне в Лифляндию ехать незачем, потому что там она не надеется найти для меня никакого дела, а что она немедленно же пользуется удобным случаем переехать в Киев, где один родственник моего отца занимал тогда довольно видную штатскую должность, – и мать надеялась, что он не откажется дать мне какое-нибудь место по гражданской службе.

Это было для меня чрезвычайно радостное известие; во-первых, я перестал завидовать нашим товарищам, которые ехали в славянском собратстве, между тем как я должен был тянуться с немцами; потом, вместо мызной мазанки в серой Лифляндии, я стремился к «червонной Украине», под тень ее тополей и черешен, к ее барвинкам, к Днепру, к святыням Киева, под свод пещер, где опочили Антоний, Нестор и Никола-князь, сбросивший венец и в рубище стоявший у ворот Печерской лавры...

О боже, каким неописанным восторгом была полна душа моя при одной мысли, что я все это увижу! Я потерял всякое самообладание – и, точно опьянев от восторга, почти не обращал внимания на все, что вокруг меня происходило. Помню только, как мы с участливостью осматривали большие, крытые троечные телеги, в которых нам надлежало ехать; сели в них, вылезали и снова сели; делили между собою места; осматривали лошадей, ценили их, определяли их достоинство, силу и характер; потом отправились с своими будущими возницами в какой-то грязненький трактир, где пили чай и водку. На этот раз нас угощали мужики, и мы все пили, – даже те, кто никогда не брал в рот капли вина, должны были выпить по две или по три полурюмки сладкой водки.

Через час мы все были пьяны, и не знаящие что с нами делать мужики запрягли парю одну из своих крытых телег, упаковали нас туда как умели и отвезли в корпус.

Мы этому нимало не противились; мы уже освоились с своим безначальным положением и привыкли считать себя вольными казаками, над которыми нет старшего. А потому нас нимало не пугала мысль, что мы явимся в корпус в таком развращенном и омерзительном виде. Мы ехали, распевая с присвистом военные песни и дрянные романсы, обнимались, барахтались, кривлялись, делали ручки проезжавшим дамам и вообще вели себя как настоящие пьяницы. Дома солдаты нас едва уложили, а утром едва добудились. На дворе уже стояли, погромыхивая тяжелыми бубенцами, толстоногие тройки с расписными дугами, и в комнату к нам полз едкий дымок тютюну, который курили ожидавшие нас у дверей извозчики.

Сердце ёкнуло: наше пришло до нас.

– Господи, что-то будет?

Солдаты начали выносить наши пожитки и размещать их по телегам, кто к которой был расписан. Шум, говор, беготня, движение – все это при моей больной с похмелья голове представлялось мне как волны хаоса.

Пришел корпусный батюшка, покропил нас водой; потом казначей дал нам по двадцати семи рублей пятидесяти копеек денег на дорогу, и нагруженные нами повозки, съехав с казенного двора, тяжело застучали по мостовой, медлительно подвигаясь к пестрым бревнам заставы.

Впереди был длинный, очень длинный путь, о котором не могут составить себе даже приблизительно верного понятия люди, доезжающие нынче от Петербурга до Киева в трое суток, и вдобавок без всяких приключений. Тогда было не то, особенно с такими солидными путешественниками, каковы были мы.

V

Нам, по нашим расчетам, на этот переезд требовалось не менее месяца, а наш извозчик утешал, что, может быть, потребуется еще и поболее.

Извозчик для едущих на протяжных – это совсем не то, что кондуктор для нынешнего путешественника, несущегося по железной дороге. С извозчиком седоки непременно сближались и даже сживались, потому что протяжная путина – это часть жизни, в которой люди делили вместе и горе, и радость, и опасности, и все его досады. «Вместе мокли и вместе сохли», как выражается извозный люд. Наш извозчик, отправленный везти молодых господчиков по киевскому тракту, был небольшой, но очень крепкий, коренастый мужик из Новгородской губернии. Звали его Кирилл. Он был раскольник, но, вероятно, очень плохой, потому что и пил, и курил, и сам себя называл «попорченным»; но он был очень веселый и, казалось, добрый малый, от сообщества которого мы пророчили себе дорогой немало удовольствий. Они тотчас и начались. Выехав с нами из Петербурга за Московскую рогатку, Кирилл остановил у какого-то домика лошадей и объявил, что здесь живет его приятель Иван Иванович Елкин, к которому если не заехать и ему как следует не поклониться, то нам в дороге не будет никакой спорыньи.

Мы не прекословили и зашли: это был кабак, в котором, разумеется, никакого Ивана Ивановича не было, а сидел простой целовальник. Здесь мы, по настоянию Кириллы, все выпили: кто мог – водки, а кто не мог пить водки, тот пил пиво или мед.

Совершив такое возлияние путевому божеству, все мы охмелели и, едучи, сначала пели свои военные песни и романсы, а потом заснули.

Нас в повозке помещалось восемь человек, но как мы были все люди небольшие и покладливые, а к тому же и пожитками не обремененные, то особого стеснения не чувствовали. Но, несмотря на то, что мы соблюдали обычай, указанный нам Кириллою, и, войдя к Ивану Ивановичу Елкину, совершили в честь его возлияние, путь наш не спорился: мы ехали, разумеется, шагом, делая не более пятидесяти верст в день, с передневками через два дня в третий. Это всякому должно бы показаться чрезвычайно утомительным и скучным, но нас все занимало: и новые люди и новые места, – и мы не погоняли нашего возницу, а добивались только одного, чтобы передневки приходились в городах или по крайней мере в хороших местах, которые мы осматривали, купались и спали. – К Иванам Ивановичам Елкиным, которых по дороге было чрезвычайно много и которые все оказывались добрыми приятелями Кирилла, мы уже более не заходили – потому ли, что многим из нас пришлось дорогою порядочно переболеть после петербургских оргий, или потому, что на нас очень хорошо действовала природа и новость места и людей, которых мы «изучали» с отменною охотою и внимательностью.

Кирилл, который любил выпить, но считал неуместным делать это на свои деньги, покрепившись дня два и видя, что из нас ему нет сотоварищей и хлебосолов, поднялся на штуку: он отделил у себя на козлах так называемую «беседочку», в которую постоянно присаживал кого-нибудь из прохожих, и выручаемые этим путем деньги считал позволительным вручать Ивану Ивановичу Елкину. Пассажилов этих он набирал везде: по дороге и на ночлегах по постоянным дворам, откуда мы обыкновенно съезжали чрезвычайно рано. Чтобы не тревожиться утром, а также чтобы не платить особых денег за ночлег, мы все спали в повозке, – и Кирилл, съезжая со двора, не будил нас; а обеденный покорм, длившийся часа четыре, мы нередко держали у дороги на лесных опушках или где-нибудь над рекою, в которой непременно купались и иногда по несколько раз в самое короткое время.

Сколько-нибудь замечательных происшествий с нами никаких не происходило, но только во всех в нас в течение немногих дней, проведенных в пути, как-то смелее и резче начала обозначаться наша индивидуальная разность. В корпусе мы все в общих чертах характера и взглядов походили друг на друга, – все мы были кадеты, а теперь, хотя мы оставались в своей же однокашнической компании, в нас обозначались будущие фаты, щеголи, которые будут пускать пыль в глаза, и задумчивые философы с зародышем червя в беспокойном, вдаль засматривающем воображении. Вскоре эта разновидность обнаружилась в весьма осязательной для нас форме.

В Твери штат наш должен был уменьшиться. Здесь нам надлежало высадить одного товарища по фамилии Волосатина, отец которого служил председателем какой-то из тверских палат.

По этому случаю мы сделали в Твери дневку – и высаженный здесь товарищ наш приехал к нам на постоянный двор в дрожках, запряженных парой лошадей, и пригласил нас всех от имени своего отца на вечер.

Этот товарищ был из тех, которые подавали надежду сделаться щеголями и франтами, – и два часа времени, проведенные им в разлуке с нами в доме своего отца, безмерно подвинули в нем вперед эту склонность. Он звал нас приветливо, но с заметною небрежностью, и говорил с нами не слезая с дрожек, на которых сидел в щеголеватом новом платье, с тросточкою в руках, – тогда как мы толпились вокруг него все запыленные и в истасканных дорожных куртках.

Он наслаждался своим превосходством и без церемонии сказал нам:

– Только, приглашая вас к себе в дом, я надеюсь, что вы понимаете, что вам надо будет привести себя в порядок и хорошенько приодеться, а не валить толпою как попало; у нас будут гости и будут танцевать: вот я для этого даже сейчас и еду купить себе и сестре перчатки. Советую всем вам, кто хочет танцевать, тоже запастись хорошими перчатками, – иначе нельзя.

– Боже мой! как это хорошо: будут танцевать!

– И у него есть сестра!

– Да одна ли сестра – верно, будет и еще много дам! – воскликнули разом несколько голов после того, как товарищ покатыл, обдав нас целым облаком пыли, – и все мы кинулись к своим узелкам, в которых был увязан наш штатский гардероб, построенный военным портным.

Восторг был всеобщий, но непродолжительный, потому что один из товарищей, имевший в задатке червя самолюбия, объявил, что он не пойдет, потому что Волосатин приглашал нас очень обидным тоном.

Тон! мы, недавние бесцеремонные товарищи, вырывавшие недавно из рук друг у друга кусок пирога или булки и не стыдившиеся выпрашивать один у другого самых ничтожных мелочей, – уж теперь разбирали тон! Да и как еще разбирали? хоть бы какому записному дипломату или светскому критику.

Вот свет! вот его первое наитие, неизвестно откуда забравшееся в нашу телегу, и тут же рядом несостоятельность его законов перед шепотом жгучих сил доброй молодости.

– Да, – заговорили мы, – мы все согласны, Волосатин скотинка: он очень форсит, обидел нас, но все-таки он наш товарищ, и мы дурно сделаем, если пренебрежем его приглашением. Он один виноват; а мы, если не пойдем, – мы покажем, что и мы сами невежи и не знаем, как должно, светских приличий. Приняв приглашение, надо идти.

– Мы оскорбим его отца, который нас звал и который, может быть, очень заслуженный человек.

– Какой черт «заслуженный»! просто какой-нибудь приказный.

– Но мы теперь и сами пр... То есть мы все теперь статские, – отвечали мы со вздохом.

– И, наконец, он говорил, там есть у него сестра, а разве можно оказать невежливость женщине.

Эта «сестра», мне кажется, очень много значила для всех нас: всем нам было приятно называть молодое женское лицо... ст?ики не устояли. Мы решили

перчаток не покупать, потому что такой экстренный расход был нам не по карману, – но, принарядясь в свои сюртуки, отправились в качестве нетанцующих на вечер, который для меня имел очень серьезное значение с довольно неприятными последствиями.

VI

К немалой нашей досаде выходило, что все мы довольно поотвыкли от женского общества, которое видели еще детьми и в которое совсем не умели вступить теперь, находясь в своей странной неопределенной поре и в своем неопределенном положении «нетанцующих кавалеров».

Самый первый шаг вступления в освещенный зал путал и сбивал все наши светские соображения, а к тому же мы никого не знали в том доме, куда нам предстояло предстать, и вдобавок нас некому было отрекомендовать и представить.

Положение было трудное, и оно еще усложнялось тем, что когда мы явились в дом – до нашего слуха долетели звуки вальса, и сквозь неплотно притворенные двери передней, где мы стояли, ожидая Волосатина, видны были мелькающие пары.

Волосатин, за которым мы послали человека, не выходил к нам, и его невозможно было ждать, потому что, по словам лакея, он танцевал, – невозможно было и стоять без толку и движенья в передней, тем более что какой-то пожилой господин, которого мы все приняли за хозяина, проходя через переднюю в зал, пригласил нас войти и, взойдя сам впереди нас, поцеловал руки двух дам, сидевших ближе ко входу.

Мы длинною вереницею вступили за ним и, следуя во всем его примеру, начали по очереди подходить к ручкам всех дам. Неуместный прием этот, которым мы по неопытности своей подражали взошедшему перед нами другу дома, обратил на нас всеобщее внимание, – и я, шедший впереди лобызающей руки шеренги, видя смущение девиц и насмешки мужчин, не знал, как мне остановиться и куда вести за собой свой гусек. Я желал бы быть лучше поглощенным землею, как вдруг, приклонясь к руке одной молодой бледной блондинки с добрыми

голубыми глазами, я почувствовал, что рука ее, ускользнув от моих губ, легла на мое плечо, и сама она добрым, дружеским шепотом проговорила мне:

- Давайте лучше вальсировать!

Я подхватил ее – и сначала неловко, а потом с достаточною смелостию сделал с ней тур и посадил ее на место.

В этой умеренности мною, по счастью, руководило правило, по которому нам на балах запрещалось делать с дамами более одного тура вальса, – и то изо всей нашей компании знал это правило один я, так как на кадетских балах для танцев с дамами отбирались лучшие танцоры, в числе которых я всегда был первым. А не знай я этого, я, вероятно, закружился бы до нового неприличия, или по крайней мере до тех пор, пока моя дама сама бы меня оставила.

Но, по счастью, опытность спасла меня, а моему примеру последовали и другие мои товарищи, которых я увидел вальсирующими, когда опустил свою даму.

- Сядьте возле меня, – пригласила меня моя дама.

Я млел: она мне казалась прекрасною и такую доброю, что я ее уже бесповоротно полюбил.

- Мой брат говорил мне, что вам далеко еще ехать... – начала она.

Ее брат! Великий боже! это она и есть, она, сама она, его сестра! О, вы, души моей предчувствия, сбылись: не даром меня влекло сюда; не даром... нет, не даром: я был влюблен, и притом не только бесповоротно, но и смертельно влюблен!

Я только хотел бы знать ее имя и... хотя приблизительно: на сколько лет она меня старше?

Желания мои сбылись: ко мне подошел наш блестящий товарищ Виктор Волосатин – и, отведя меня в угол, где были сбиты в кучу все прочие товарищи моего бедствия, сказал:

– Надо же быть таким пошлым дураком, как ты, чтобы, войдя в зал, начать прикладываться к ручкам всех дам, и потом еще вальсировать в три па и без перчаток... Это можно в корпусе, но в свете так не поступают.

Я было привел в свое оправдание пример взошедшего передо мною старичка, но Волосатин еще раз назвал меня дураком и растолковал, что тот старичок – его дядя, который держит себя здесь по-родственному, между тем как я...

Ну да, я сам знал, что сделал ужасный и непростительный поступок и достоин за то всякой кары, а потому и не возражал и не обижался дружеским выговором, тем более что все это была такая мелочь в сравнении с любовью, которую я пламенел к его прекрасной и доброй сестре, которая (это очень большой секрет) сама ангажировала меня на мазурку.

От этой радости я просто был как в чаду и целый вечер ни с кем не танцевал ни одного танца, а все смотрел из-за мужчин на нее. И что же вы думаете? – она меня понимала: она тоже не танцевала и отказывала всем, кто к ней подходил. Это было мне очень приятно, и верное сердце мое слало ей тысячу благословений. Не сводя с нее глаз, я все находил ее прекраснее и прекраснее, и она в самом деле была недурна: у нее были прелестные белокурые волосы, очень-очень доброе лицо и большие, тоже добрые, ласковые серые глаза, чудная шея и высокая, стройная фигура, а я с детства моего страстно любил женщин высокого роста, чему, вероятно, немало обязан стройной фигуре А. Паулы Монти, изображение которой висело на стене в моей детской комнате и действовало на развитие моего эстетического вкуса. – К тому же сестра Волосатина мне нравилась своим поведением; она не вертелась, как все девицы, а все более сидела со старушками и добродушно сносила торможения беспрестанно подбегавшей к ней кучерявой брюнетки, к которой несколько из моих товарищей относились с ангажементами и получали отказ. Эта кичливая и ветреная особа все танцевала с франтами, которые, по моему мнению, не имели ровно никаких достоинств.

Вечер прошел – и моя блондинка сама отыскала меня глазами и сама выбрала для нас скромное место, устроив предварительно несколько пар для моих товарищей, у которых все-таки не оказалось ни одной такой красивой дамы, как моя, а что всего важнее: я не думаю, чтобы чья-нибудь другая дама умела вести такой оживленный разговор. Она все время мазурки проговорила со мною про корпус, интересовалась нашею историею, нашею прошлою жизнью и наконец, заговорив о моих планах на будущее, сказала, что мне еще необходимо много

учиться.

Это меня немножечко обидело, но у меня был готов ответ, что условием исключения нас из корпуса было воспрещение нам поступать в какие бы то ни было учебные заведения и обязательство вступить немедленно в статскую службу. Но у нее тоже не стояло дело за ответом.

– Учиться везде можно, – отвечала она, – даже и в тюрьме и на службе – и учиться непременно должно не для прав и не для чинов, а для самого себя, для своего собственного развития. Без образования тяжело жить.

Мне помнится, что я под конец мазурки дал ей слово, что буду учиться, и именно так, как она мне внушала, то есть не для получения привилегий и прав, а для себя, для своего собственного усовершенствования и развития.

Странная, прекрасная и непонятная женщина, мелькнувшая в моей жизни как мимолетное видение, а между тем мимоходом бросившая в душу мне светлые семена: как много я тебе обязан, и как часто я вспоминал тебя – предтечу всех моих грядущих увлечений, – тебя, единственную из женщин, которую я любил, и не страдал и не каялся за эту любовь! О, если бы ты знала, как ты была мне дорога не тогда, когда я был в тебя влюблен моей мальчишеской любовью, а когда я зрелым мужем глядел на женщин хваленого позднейшего времени и... с болезненной грустью видел полное исчезновение в новой женщине высоких воспитывающих молодого мужчину инстинктов и влечений – исчезновение, которое восполнят разве новейшие женщины, выступающие после отошедших новых.

Возвратясь с вечера, который нам показался прекрасным балом, я во всю остальную ночь не мог заснуть от любви, и утро застало меня сидящим у окна и мечтающим о ней. Я обдумывал план, как я стану учиться без помощи учителей, сделаюсь очень образованным человеком и явлюсь к ней вполне достойный ее внимания. А пока... пока я хотел ей написать об этом, так как я был твердо уверен, что одна подобная решимость с моей стороны непременно должна быть ей очень приятна.

Но Кирилл уже запрягал своих лошадей, – и товарищи встали и начали пить чай и собираться в путь. Письмо надлежало отложить.

Мы сели – и я уезжал без малейшей надежды узнать даже имя своей дамы, как вдруг недалеко около заставы нас обогнал Волосатин. Он ехал с мальчиком купаться, и вез перед собою на беговых дрожках закрытую салфеткою корзину.

– Эй вы, путешественники! – крикнул он нам, – вот моя старшая сестра шлет вам пирогов, ватрушек и фруктов. Поделитесь, да не подеритесь, потому что она любит мир и любовь. А тебе, Праотцев, она, кроме того, посылает вот эту какую-то книжицу: это, вероятно, за твою добродетель, что ты вчера с нею от души отплясывал.

Я взял с благоговением поданную мне им запечатанную в бумагу книжечку, но был оскорблен тоном, каким он говорил о сестре.

Я даже не удержался и поставил ему это на вид, но он нагло расхохотался и отвечал:

– Да ты уж не влюблен ли в Аню? а? Сознавайся-ка, брат, сознавайся! Ведь это с вами, философами, бывает, но только жаль, что сестре скоро тридцать лет, а тебе шестнадцать.

«Тридцать! – подумал я, – это немножко неприятно».

А Волосатин продолжал хвастать своею другою сестрою, Юленькой, той самой кучерявой брюнеточкой, которая вчера беспрестанно подлетала к старшей сестре и тормозила ее, – и затем он уехал, рассказав предварительно, что эта хваленая его сестра выходит замуж за адъютанта и что он сам, вероятно, когда-нибудь женится на красавице.

Кто-то из нас, шутя, назвался к нему на свадьбу.

– Позови, мол, нас, когда будешь жениться.

Но Волосатин в ответ на это с оскорбительною практичностью заметил, что это будет видно, смотря по тому, кто из нас как сумеет себя устроить в обществе.

Ему казалось, что он себя уже отлично устроил, и товарищи вслед ему назвали его «отвратительным фатишкою», – но мне до этого не было никакого дела,

потому что я был влюблен и желал обращаться в сферах по преимуществу близких к предмету моей любви. Я быстро распаковал привезенную Волосатиным корзину, стараясь как можно более съесть присланных его сестрою пирогов, чтобы они не доставались другим, а между этим занятием распечатал подаренную ею мне книгу: это был роман Гольдсмита «Векфильдский священник».

Я в первый раз имел в руках это сочинение и прочел его с величайшим удовольствием, сократившим для меня время путешествия до Москвы.

В Москве нас ждал маленький сюрприз.

С тех пор, как мы отказались заходить за своим Кириллом к Ивану Ивановичу Елкину, возница наш значительно к нам охладел и даже сделался несколько сух и суров, из чего мы дерзнули заключить, что этот добрый человек не столько добр, сколько лукав и лицемерен. Но ему самому мы ничем не обнаруживали нашего открытия, потому что все мы, несмотря на военное воспитание, кажется, его порядком побаивались. В Москве же он нас напугал, и довольно сильно.

VII

Так как мы сами себе мест для остановок не выбирали, а подчинялись в этом опытности и произволу Кирилла, то и в Москве нам пришлось пристать там, где он хотел. Здесь нам послужил пристанищем простой постоялый двор где-то у Рогожской заставы. Нам, впрочем, это было все равно, потому что помещением для нас, как я выше сказал, во всю дорогу служила повозка, а расстояния для нас тогда не существовали, да и притом для нас в Москве всякое место было свято и интересно. При одной мысли, что мы «в Москве», ни у одного из нас не было другого намеренья, как бежать, смотреть, восторгаться и падать ниц (без всякого преувеличения, мы непременно хотели хоть несколько раз упасть ниц, но нам удалось сделать это только в соборах, потому что на площадях и на улицах такое желание оказывалось совершенно неудобноисполнимым). Путешествовали мы по Москве по образу пешего хождения и вообще очень экономничали, так как видели впереди еще очень большой путь, а денег у нас было мало; какова же была наша досада, когда в Москве нам пришлось прожить вместо одного дня целые четыре, потому что наш Кирилл с первого же вечера

пропал, и пропадал ровным-ровнехонько четверо суток! Мы сами поили и кормили его лошадей и нетерпеливо поджидали его по целым дням, сидя за воротами на опрокинутой колоде, но Кирилл как в воду канул. В отчаянии от того, что с нами будет, так как деньги казна отдала Кириллу и никто другой нас до Киева не повезет, мы жестоко приуныли. Самая Москва потеряла для нас свою цену: все наши обозрения ограничились побегушками первого дня, и затем мы не осмотрели великого множества мест, к которым влекли нас прочитанные в корпусе романы Лажечникова, Масальского и Загоскина. Все мы страшно упали духом, а некоторые из нас даже малодушно плакали и тем наводили на других еще большее уныние, дошедшее, наконец, до всеобщего отчаяния и страха. К кому мы ни обращались за сведениями о своем вознице, все это было напрасно: никто не давал нам никакого определительного ответа; но, наконец, какой-то извозчик сжалился и, потребовав с нас рубль за открытие томившей нас тайны, сообщил нам, что Кирилл «водит по Москве медведя».

Эта невероятная новость нас в одно и то же время и обрадовала, и встревожила, и огорчила: как-де это не стыдно Кириллу, человеку столь обстоятельному и староверу, позабыть свое дело и предаться такому пустому, шарлатанскому занятию, как вождение медведя?

– Он может погибнуть, – предполагали мы и с минуты на минуту ожидали, что кто-нибудь привезет на двор и бросит его несчастный труп, растерзанный медведем.

Но, наконец, к ночи четвертого дня Кирилл явился – мрачный и тяжелый, но живой, хотя, впрочем, с несомненными знаками только что перенесенной тягостной борьбы с медведем: армяк и рубашка на одном плече у него были прорваны насквозь, и сквозь прореху виднелось голое тело с страшным синяком, лицо возле носа было расцарапано и покрыто черными струпьями, а на шее под левым ухом в складках кожи чернела засохшая кровь.

Взглянув на него, мы не стали его укорять и только любопытствовали: правда ли, что он все это время водил медведя?

– Водил, чтоб его, проклятого, черт ободрал! – отвечал Кирилл и, уткнувшись лицом в сено, захрапел.

Мы тоже не стали его ни о чем более расспрашивать и поскорее улеглись спать в своей повозке, а утром были пробуждены зычным криком, который раздавался из хозяйских комнат. В этом крике среди многих других голосов мы могли различать и голос нашего Кириллы.

– Не водить было тебе, подлец, медведя! не молоденький ты, чтобы баловствами заниматься! – выкрикал хозяин.

– Что делать: господь попустил! – отвечал Кирилла.

– Так вот за то теперь и оставь нам на прокормление пристяжную.

– Помилуй! – просил Кирилл, – мне без третьей лошади все равно что пропасть!

– Ничего; пусть тебя палач плетью помилует, а ты оставляй пристяжную, да и все тут: я уж два года на тебе сорок рублей жду, а ты всякий раз как приедешь – опять за свою привычку: по Москве медведя водить! Нет; иди, иди, запрягай пару, а левую оставь; не велики твои господчики – парой их довезешь.

Кирилл жалостно просил пощады и клялся, что ему парой нас не довезть, потому что ближе к Киеву пойдут большие пески, и парой ни за что телегу не выволочь; но дворник был неумолим и настаивал на том, чтобы третью лошадь оставить ему: мы-де ею тут твоего медведя покормим.

Все это нас ужасно смутило: нам представлялось и жалостное наше путешествие на несчастной паре вместо тройки, и потом нам чрезвычайно жалко было обреченной на съедение медведю лошади, так как мы уже успели сильно сдружиться с Кириллиными конями – и особенно с левым буланым меринком, у которого был превеселый нрав, позволявший ему со всех, кто к нему подходил, срывать шапки, и толстая широкая спина, на которой мы по очереди сживали в то время, когда буланый ел на покорме под сараями свой овес.

Меж тем как мы волновались подобными чувствами – до нашего слуха долетели другие голоса, касавшиеся уже непосредственно нас самих: кто-то давал Кирилле мысль прижать нас и потребовать от нас доплаты к сумме, следовавшей ему за наш провоз; но Кирилл энергически против этого протестовал и наотрез отказался нас беспокоить, объявив, что он всю плату получил сполна и что это дело казенное – и он «мошенства» ни за что сделать не

хочет, а скорее пойдет куда-то к начальству и скажет: так и так, и т. д.

Мы далее не вслушивались – и, тронутые благородством Кириллы, решились скорее выручить его необходимою суммою, для чего с каждого из нас семерых нужно было около шести рублей ассигнациями. Мы уже развязали свои мешки и складывали эту значительную по нашим средствам сумму, как вдруг она оказалась вовсе не нужною, потому что утихший на мгновение крик снова раздался с удвоенной силой, и Кирилл слетел с шумом и грохотом с крыльца, проворно схватил под уздцы свою уже запряженную тройку и свел ее со двора, а потом вскочил на облучок и поехал рысью.

Считая такую скорую езду делом совершенно необыкновенным, мы выглянули из-под рогож нашей повозки на своего возницу – и, увидав его в какой-то ажитации, снова попрятались.

Я, может быть, дурно делаю, вдаваясь во все мелочи нашего первого путешествия, но, во-первых, все это мне чрезвычайно мило, как одно из самых светлых моих юношеских воспоминаний, а во-вторых, пока я делал это путешествие, оно, кажется, не знаю почему, делало грунт для образования моего характера, развитие которого связано с историею бедствий и злоключений моей последующей жизни.

Московский медведь, оставшийся для нас мудреною загадкой, по-видимому произвел весьма сильное впечатление и на самого Кириллу, который совершенно утратил на время свою веселость и, сделавшись чрезвычайно молчаливым, все выбирал пальцами подлиннявшие у него в бороде волосы. На прорехи своего платья и раны своего лица он не обращал никакого внимания, несмотря на то, что количество повреждений на его лице, кажется, несколько усилилось после его объяснений с московским дворником, от которого он спасся какою-то неизвестною нам находчивостью.

Три дня после выезда нашего из Москвы он все спал: спал на стоянках, спал и дорогою – и с этою целию, для доставления большего удобства себе, никого не подсаживал в беседку, а лежал, растянувшись вдоль обоих мест на передке. Лошадьми же правил кто-нибудь из нас, но, впрочем, мы это делали более для своего удовольствия, так как привычные к своему делу кони сами знали, что им было нужно делать, и шли своею мерною ходою.

В Туле мы высадили еще одного товарища, а в Орле двух – и остались вчетвером, из которых одному надлежало остаться в Глухове, другому в Нежине, а мне и некоему поляку Краснопольскому вдвоем ехать до Киева. Но, однако же, не все мы доехали до мест своего назначения: нам суждено было погубить дорогою своего нежинского товарища, маленького Кнышенко. Это – небольшое, но очень трагическое происшествие, которое чрезвычайно меня поразило, особенно своею краткою простотою и неожиданностью.

Я, конечно, знал, что все люди смертны, но я... все-таки думал, что такое солидное дело, как умирание, должно происходить с некоторою подготовкою, вроде того как было с отцом, апоплексическому удару которого предшествовал нравственный удар.

VIII

В Туле и Орле мы были беспокойны, как бы наш Кирилл опять не повел медведя, так как он нам уже рассказывал, что это такое значило, – и мы из слов его узнали, что в вождении медведя, никакой настоящей зверь этой породы не участвовал, а что это было не что иное, как то, что Кирилл, встретясь в Москве с своими земляками, так сильно запил, что впал в потемнение рассудка и не помнит, где ходил и что делал, пока его кто-то из тех же земляков отколотил и бросил у ворот постоянного двора, где мы его ждали в таком ужасном перепуге и тоске.

Однако и в Туле и в Орле Кирилл показал характер и удержался, да и вперед обещал быть воздержен и даже выражал твердое намерение, довезя нас до Киева, оставить навсегда свой извозчиный промысел и ехать домой, где у него была жена, которая всегда могла его от всяких глупостей воздержать. Теперь он жил в некотором умиленном состоянии и, вздыхая, повторял прекрасную пословицу, что «земляной рубль тонок, да долог, а торговый широк, да короток».

Пословицу эту мы хвалили, но все-таки нас пугала мысль: не пропил ли Кирилл в Москве все деньги, данные ему за наш провоз, – и мы хотели узнать: будет ли ему с чем доставить нас до Киева? Много церемониться было не из чего – и мы откровенно выразили ему наши опасения; но Кирилл нас тотчас же благородно успокоил, и притом сделал самому себе некоторый комплимент, сказав, что он

водил медведя, держа рассудок в сумке, и пил только на чужой счет своих земляков, а все деньги забил в сапоги под стельку, – и потому когда товарищи захотели снять с него и пропить те сапоги, то он тут сейчас очувствовался и вскричал караул, но сапог снять не дал, а лучше согласился претерпеть неудовольствие на самом себе, что и последовало.

Мы проехали всю Орловскую губернию, встретили в Упорое у сада графа Гейдена первые тополи – и, налюбовавшись ими, вскоре перевалили за широкую балку, посредине которой тек маленький ручеек, служивший живым урочищем, составляющим границу Великой России с Малороссиєю.

Теперь переезд этот ничего не значит для путешественника, да и он совершается совсем не в том месте, где мы перебирались из страны «неба, елей и песку» в страну украинских черешен. Железная дорога оставила далеко в бок характерную местность тогдашней переправы и получившую очень характерное название «Пьяная балка». Здесь на одном пологом скате была великорусская, совершенно разоренная, деревушка с раскрытыми крышами и покосившимися избами, а на другом немножко более крутом и возвышенном берегу чистенький, как колпик, малороссийский хуторок. Их разделяла только одна «Пьяная балка» и соединял мост; затем у них все условия жизни были одни и те же: один климат, одна почва, одни перемены погоды; но на орловской, то есть на великорусской, стороне были поражающие нищета и голод, а на малорусской, или черниговской, веяло иным. Малороссийский хутор процветал, великорусская деревня извелась вконец – и невозможно было решить: чего еще она здесь держится? В этой деревне ни один проезжий или прохожий не останавливались – как потому, что здесь буквально не было житья в человеческом смысле, так и потому, что все население этих разоренных дворов пользовалось ужаснейшею репутациєю.

По одну сторону «Пьяной балки» была дорогая и скверная откупная водка, по другую дешевая и хорошая. На самом мосту стоял кордон, бдительно наблюдавший, чтобы великоруссы не проносили к себе капли малороссийской водки; но проносить ее в желудке кордон не мог возбранить – и вот почему балочники Орловской губернии были так отчаянно бедны: они постоянно все, что могли, тащили к жидам на малороссийскую сторону и там пропивали все дочиста.

В самой балке всегда стояли караваны телег: все извозчики и не извозчики, всякая христианская душа считала необходимостью, сделав шаг за

малороссийский рубеж, сейчас же здесь намертво напиться дешевой водкой, – и оттого здесь постоянно бывали ссоры, драки и даже нередко убийства, о которых мы много наслышались от Кириллы, говорившего о «Пьяной балочке» с восторгом, по меньшей мере приличествовавшим разве, например, приближению верующего к Палестине.

– Ах! – восклицал он, осклабляясь и простирая руки в том направлении, где была «Пьяная балка». Восхваляя это место, он в восторге своем называл его не местом, а местилищем, и говорил, что «там идет постоянно шум, грохот, и что там кто ни проезжает – сейчас начинает пить, и стоят под горой мужики и купцы и всё водку носят, а потом часто бьются, так что даже за версту бывает слышен стон, точно в сражении. А когда между собою надоест драться, то кордонщиков бьют и даже нередко убивают».

Эта картина, по-видимому, совершенно пленила нашего Кирилла, у которого на лице уже проходили следы московского вождения медведя, и мы опасались, не разрешил бы он в «Пьяной балке» снова; но он категорически отвечал, что хотя бы и желал, так не может, потому что он дал самому богу зарок водки не пить, а разве только попробует наливки, что и исполнил тотчас же, как мы перетащились за логовину на черниговскую сторону.

Всего безобразия этой «Пьяной балки» я решительно, не могу описать: это одно бы составило ужаснейшую картину отвратительнейшего жанра. Везде стояли и бродили омерзительно пьяные мужики, торчали опрокинутые возы, раздавались хриплые голоса; довелось нам даже слышать и те стоны, которые в восторге описывал Кирилл, учинившийся здесь пьяным как стелька.

Мы были этим несказанно удивлены, но он нам самым обстоятельным образом разъяснил, как случилось, что данный богу зарок не помешал ему натянуться. Выходило, что, давая зарок, он умышленно разумел одну лишь водку настоящего белого цвета, а ни о каких иных напитках не упоминал и потому всяким иным напитком с чистою совестью мог напиваться.

Путешествуя далее до ночлега, он останавливался уже у всякой корчмы и все пил «четвертку красненькой», причем несколько раз снова начинал нам объяснять, как он умен и предусмотрителен в том отношении, что дал зарок богу не пить простой белой водки, а насчет «цветной или красненькой ничего касающего не обещал». Это его так утешило и придавало ему такую отвагу, что он даже утверждал, что бог с него «никакой правы не имеет взыскивать насчет того, о

чем у них договора не было».

Пропив один день, он продолжал то же самое и на другой и все более и более входил в стих – и, досадуя, что его никто не потчует, возымел намерение «хорошо проучить чертовых хохлов», которые, по его мнению, были до жалости глупы.

Скоро к тому представился случай: мы проезжали какое-то село в большой праздник. В корчме была масса народа. Кирилл остановил лошадей, зашел в корчму и пропал там.

Подождав его около четверти часа, двое из наших пошли его вызвать, но возвратились с известием, что наш возница затеял какую-то штуку с хохлами и ни за что не хотел выходить из корчмы.

Штука эта состояла в том, что Кирилл спросил у шинкарки четвертку водки – и, не выпив сам ни одной капли, распотчевал ее на трех ближайших малороссийских мужиков. Те, ничего не подозревая, выпили, а теперь Кирилл объявил им, что и они в свою очередь каждый должен его попотчевать. Мужики, почесавшись, затребовали каждый по четвертке, а наш Кирилл, слив все это в одну посуду, поблагодарил и выпил, уже на сей раз совсем позабыв свой зарок не пить белой.

При безобразном пьянстве нашего провожатого мы кое-как добрались до Королевца, маленького грязного городишки, где тогда шла ярмарка и где Кирилл снова «надул проклятых хохлов», но уже на этот раз его находчивость избрала орудием для обмана нас самих. Он устроил все это так обдуманно, смело и тонко, что мы ничего не могли понять до тех пор, пока он выполнил весь свой коварный умысел, чрезвычайно нас тогда обидевший и опечаливший, а нынче, когда я пишу эти строки, заставляющий меня невольно улыбаться.

Надо сказать, что между нами тремя, которых вез теперь Кирилл, был некто, которого я назову Станиславом Пенькновским. Этот молодой поляк был годами двумя нас постарше, высок ростом, довольно мужественен, красив собою, при этом большой франт – и, по польскому обычаю, франт довольно безвкусный.

Подчиняясь своей страсти к щегольству, он в Москве купил у какого-то своего земляка венгерку с шнурами и кутасами, яркоцветные широкие шаровары и красную турецкую ермолку с синею шелковою кистью; в этом странном наряде

он и ехал, постоянно высовываясь из повозки.

Кирилл, как только его голова немножко поправилась после московского пьянства, обратил внимание на этот наряд и многократно его одобрял, а потом, вероятно вследствие долгих соображений, нашел случай его утилизировать. Началось это с того, что чуть где-нибудь на мосту, случалась беспорядица и давка – Кирилл просил Пенькновского высунуться и покричать, что тот с удовольствием и исполнял, делая нередко и даже несколько более того, о чем просил его Кирилл. Так, Пенькновский зачастую, не ограничиваясь криком из телеги, выскакивал вон – и, выхватив у Кирилла его длинный троечнический кнут, хлестал им встречных мужиков и их лошадей, отчего последние метались в стороны и нередко валяли и опрокидывали возы, мимо которых мы потом с торжеством проезжали среди мужиков, снимавших в страхе свои шапки и, вероятно, славших нам тысячи проклятий. Но как бы там ни было, а Пенькновский везде по дороге производил очень большой эффект – и Кирилл, находя в этом немалую для себя выгоду, очень часто его хвалил и даже угощал пивом и водкою.

Так было во все время путешествия по Великой России.

Въехав в Малороссию, Кирилл начал еще более льстить пану Пенькновскому и уверял, что ему стоит показаться, так дураки хохлы для него все с себя поскидают.

Пенькновскому необыкновенно нравилось, что он играет такую заметную роль, и он по приглашению Кириллы начал с ним заходить во всякую корчму. И что же выходило? Действительно, чуть, бывало, Пенькновский взойдет и сядет, а Кирилл шепнет одно слово шинкарю или шинкарке, как те тотчас подадут им обоим наливки, сколько они хотят, а также давали и закусок и ни за что не требовали ни гроша, а только, выпроваживая их, – тихонько вслед им плевали.

Я и мой другой товарищ понять не могли: за кого это нас принимают? Пенькновский же уверял нас, что все это, вероятно, происходит оттого, что он будто бы похож на казацкого атамана, в чем его в свою очередь уверил льстивый и коварный Кирилл. Так мы доехали до Королевца, где суждено было произойти развязке этого пошлого и смешного анекдота.

Ярмарка в Королевце стояла на единственной немощеной и чрезвычайно грязной городской площади. Я уже теперь не помню, около каких это было чисел, но знаю, что время было осеннее.

Постоялые дворы вокруг площади все были заняты – и Кирилл, не въезжая никуда на двор, остановился за углом одного дома у самой площади, выпряг здесь своих коней и, растянув хрептуг, поставил их к корму, а сам приступил к Пенькновскому с просьбою пройтись по базару. Кирилл сказал, что ему надо купить для себя пару бубенчиков и что будто бы ему гораздо сподручнее сделать это приобретение вместе с Пенькновским.

Пенькновский не отказался, и они пошли; а я и другой мой товарищ, маленький Кнышенко, заинтересованные тем, неужели им и бубенчики достанутся даром, – следили за ними издали.

Пенькновский в своем пестром, в глаза кидающемся наряде шел впереди, – а Кирилл, обыкновенно обращавшийся с нами запанибрата, здесь вдруг как будто проникся к Пенькновскому крайним и самым подобострастным почтением. Он шел сзади и тщательно оберегал, чтобы его кто не толкнул, а между тем постоянно шептал что-то на стороны встречным людям, которые тотчас же со страхом расступались и, крестясь, совали Кирилле кто грош, кто бублик, и потом, собираясь толпою, издали тянулись за ними со страхом, смешанным с неодолимым любопытством.

До нашего слуха долетало какое-то чуждое слово, значенья которого мы не понимали, но видели, что вереница, следовавшая за Пенькновским, все увеличивалась. Посреди торгового толпа сгустилась до невозможности, и сидевшие тут на земле торговки с яблоками, булками и плоскою королевцевою колбасою начали подавать сопровождавшему Пенькновского Кирилле – каждая от своих щедрот: кто булку, кто пару яиц, кто еще что было под рукою; притом опять каждая, подав эту жертву, набожно крестилась и с отвращением плевала в сторону.

На площади внятнее прогудело опять то же слово, чуждое и незнакомое нам; слово это было «кат».

– Ката везут, московского ката в Киев везут: жертвуйте кату, чтобы милостивейше бил! – шептали со всех сторон – и жертвы до того увеличились, что Кирилл уже был значительно ими обременен и, заметив нас, передал нам долю своего сбора, после чего и от нас тоже все отшатнулись, и пронеслось:

– А се его ученики. Они еще бити не могут, а тильки привязуют.

И нам пошла особая, добавочная жертва!

Положение выходило престранное и, как мы понимали – не совсем ладное; но Пенькновский, обаянный своим великолепием, идучи впереди, ничего этого не слышал.

Он зашел в балаган и купил или даром взял бубенчики, положил их в карман и, погромыхая ими, пошел еще с большим эффектом; зашел в палатку, где продавали вино и где были разные пьяные люди. Однако, несмотря на то, что все эти люди были пьяны, чуть только они взошли и Кирилл кивнул им головою на Пенькновского – они перестали шуметь и потребовали для него непокупного вина. Кирилл оставил здесь Пенькновского, а сам, изрядно пьяный, вернулся к телеге с целым ворохом разных закупок и гостинцев. Он живой рукой заложил лошадей – и мы подъехали к куреню, где оставался великолепный Пенькновский.

Услышав звон наших новых бубенчиков, он вылез из-под грязной палатки – и мы поехали.

У нас был целый сбор пирогов, рыбы, колбас, яиц, вина, репы, табаку и моркови, которую немилосердно хрястал подгулявший Кирилл; но тут вдруг случилось неожиданнейшее и казуснейшее происшествие: не успели мы отъехать и трех верст от города, как нас обогнал тарантас, запряженный тройкою лошадей: в нем сидел какой-то краснолицый господин, а на козлах, рядом с кучером, солдатик с нагайкою через плечо. Нам было велено остановиться – и краснолицый господин с военною осанкою потребовал от нас наши паспорта.

Мы развязали сумочки и предъявили наши бумаги. Военный господин просмотрел их – и непосредственно за тем, сбив с Кириллы шапку, начал таскать его за вихры и бить по щекам, а потом бросил его на землю и крикнул:

– Откройся!

Кирилл открылся, и солдатик снял с плеча нагайку и начал его бить, меж тем как чиновник приговаривал:

– Вот тебе, подлецу, за московского ката! – Кирилле за это досталось по нашему счету около ста нагаек. Затем краснолицый господин сел в тарантас, а солдатик вскочил на козла, и они уехали, а мы в страхе подняли Кириллу и начали приводить в порядок его туалет.

Кто был этот быстрый на руку королевецкий начальник – это так и осталось нам неизвестно, но мы ему были очень благодарны, что он проучил Кириллу, а главное – открыл нам, что коварный мужичонко выдавал нашего великолепного товарища за московского палача, которого он будто бы везет в Киев польскую графиню наказывать, а нас двух выдавал за его учеников.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

С начала (лат.).

2

Бабушку (нем.).

Купить: <https://telnovel.me/nikolay-leskov/detskie-gody>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)